

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ
КРИТИКИ
И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

К Н И Г А
ОДИННАДЦАТАЯ

Г О С Л И Т И З Д А Т

1 9 * Н О Я Б Р Ь * 3 5

А. П. Чехов о Льве Толстом

Личные отношения Толстого и Чехова охватывают период времени по меньшей мере в 15 лет. В основе их лежали и высокая взаимная оценка творчества и глубокое уважение друг к другу. Но отношение Чехова к Толстому было в общем много сложнее, чем отношение второго к первому. Для Толстого Чехов был замечательный, несравненный художник, обозначивший поворотный момент в развитии русской литературы, и обаятельный человек, к которому по свидетельству такого наблюдателя, как Горький, он относился с подлинной нежностью и любовью. Но в то же время Толстой не раз указывал, что Чехов — писатель без определенного мировоззрения, никуда своего читателя не зовущий и сам идущий неизвестно куда. И даже в тех случаях, когда он признавал то или иное произведение Чехова способным благотворно (в моральном отношении) воздействовать на читателя, Толстой приписывал это не намерению художника, а его художественному таланту. Более того, в иных случаях он даже доказывал, что намерение у Чехова было плохое, отталкивающее, но правдивый художник в нем одолел плохого мыслителя, и в результате у него получилось обратное тому, что он хотел сказать. Так это было, например, с рассказом Чехова «Душечка», где Чехов, по мнению Толстого, лишь пытался иронически изобразить полную обезличенность, а объективно создал трогательный образ самоотверженной любви, что и заставило Толстого поместить этот рассказ в свой «Круг чтения».

Совсем иное мы наблюдаем в отношении Чехова к Толстому. В печатаемых ниже отрывках из писем Чехова к разным лицам мы встречаем прямое и открытое признание, что Чехов ряд лет находился под влиянием толстовства, как морально-философской доктрины. Уже *a priori* можно было бы в таком случае утверждать, что тот или иной след толстовства должен был остаться и в самом творчестве Чехова. Анализ последнего не оставляет в этом никаких сомнений.

В предлагаемой заметке мы не ставим себе цели мало-мальски полно и всесторонне осветить толстовскую струю в творчестве Чехова. Мы ограничимся лишь тем, что бегло перечислим ряд соответ-

существующих произведений писателя и в двух-трех словах скажем о характере этого влияния.

Первым из названной серии следует считать рассказ «В суде», написанный еще в 1886 году. Если бы не знать, что появление его отделяется от появления «Воскресения» Толстого полутора десятком лет, то, несомненно, у многих исследователей было бы искушение оказывать прямое влияние второго на первый, до такой степени общим является в обоих произведениях изображение суда, как безумной машины, не говоря уже об общности тех или иных деталей. К тому же году относится рассказ «Хорошие люди», в котором уже затронут и поставлен общий вопрос о центральной идее толстовства — «непротивлении злу насилием». Далее хронологически следуют рассказы «На пути», «Нищий», «Встреча», «Казак», «Письмо», где в разных вариациях, как главная тема или как побочная, трактуется все тот же вопрос о непротивлении злу насилием, притом трактуется так, что без особенных подчеркиваний, но совершенно явственно, авторские симпатии склоняются именно к носителям этой доктрины. В нашей борьбе со злом, — говорит одна из героинь рассказа «Хорошие люди», — есть какая-то фальшь, точно что-то не досказано или скрыто. Бог знает, быть может, наши приемы в противлении злу принадлежат к числу предрассудков, которые вкоренились в нас так глубоко, что мы уже не в силах расстаться с ними и потому уже не можем судить о них правильно». Эти слова всего ближе, по видимому, характеризуют отношение к данному вопросу и самого Чехова.

Пропуская произведения, в которых затронуты те или иные частности толстовства (например, тема о деньгах, как о зле, в повести «Степь», в рассказах «Сапожник и нечистая сила» и «Пари»), обратимся прямо к произведениям, тематику и пафос которых составляет же преодоление толстовства. Первым в ряду их надо назвать небольшой и по формальным своим особенностям необычный для Чехова очерк «Без заглавия», в котором противопоставляются праведное отшельничество и грешная мирская жизнь и где последняя торжествует победу над первым.

Гораздо глубже, а главное, конкретнее поставлен Чеховым вопрос преодоления толстовства в замечательных рассказах: «В ссылке» и «Палата № 6», особенно в последнем. Здесь Чехов ополчился против самой сердцевины толстовской философии, — против идеи о том, что «царство божие внутри вас», что счастье человека — не вне его, не в нем самом, не в тех или иных социальных обстоятельствах и условиях, а исключительно во внутреннем самоусовершенствовании человека. Обитатель «Палаты № 6» Громов ниспровергает с негодованием эту философию, носителем которой является доктор Рагин. «Уразумение... Внешнее, внутреннее... — восклицает Громов. — Извините, я этого не понимаю... Я знаю, что бог создал меня из телой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на

мерзость—отвращением. По-моему, это собственно и называется жизнью».

Характерно, что после «Палаты № 6» Чехов до конца своей жизни ни в одном произведении не поставил в центре толстовской философии, обращаясь время от времени (и притом изредка, с большими интервалами) лишь к ее частностям. Так это было, например, в рассказах «Дом с мезонином» и «Моя жизнь», где мы встречаем страницы, трактующие вопрос об опрощении, о необходимости каждому участвовать лично в тяготах физического труда. Это свидетельствует о том, что внутренне Чехов уже «разделался» с толстовством. При этом необходимо отметить, что и по вопросу о необходимости участия в физическом труде высказывания героев Чехова чрезвычайно далеки от ортодоксального толстовства. Так, в «Моей жизни» опростившийся Мисаил Полознев признается: «Когда я пахал или сеял, а двое или трое стояли и смотрели, как я это делаю, то у меня не было сознания неизбежности и обязательности этого труда, и мне казалось, что я забавляюсь».

Краткий, но выразительный итог своего отношения к толстовству Чехов подвел в 1898 г. в рассказе «Крыжовник». Не называя Толстого по имени, герой рассказа говорит здесь: «Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходит из города, от борьбы, от житейского шума, уходит и прятаться у себя в усадьбе, это — не жизнь, это — эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».

Это и был годами продуманный ответ Чехова на знаменитый вопрос Толстого: «Много ли человеку земли нужно?» Вместе с тем не обходимо отметить, что даже в ту пору, когда влияние Толстого и толстовства на Чехова было несомненным, самая сфера его была ограничена; трактуя в своих рассказах различные стороны толстовства, Чехов совершенно оставляет в стороне религиозную сущность его, а на первый план неизменно выдвигает моменты социального порядка, социальной справедливости главным образом.

Не менее характерно для отношения Чехова к Толстому, как художнику и как человеку, то, что, бесконечно его цenia и уважая беззаветно (по собственному его выражению), он не простирает, однако, этих чувств до отказа от критики и до слепого обожания, оставаясь верным своему трезвому и взыскательному реализму. Печатаемые ниже отрывки из писем свидетельствуют об этом с достаточной ясностью.

Публикуемый материал исчерпывает все существенное, что имеется в переписке А. П. Чехова, касающееся Л. Н. Толстого. Некоторая часть материала публикуется впервые. Остальные материалы посл



А. П. Чехов и Л. Н. Толстой (1901 г.).

революции не переиздавались за исключением двух-трех писем, напечатанных в мало распространенных изданиях. Необходимые пояснения к письмам даны в конце, соответственно порядковой нумерации отрывков. Нумерация дана в конце каждого отрывка в скобках вместе с указанием адресата.

А. Дерман.



...я так же, как и Вы, не люблю литературы того направления, о котором у нас с Вами идет речь. Как читатель и обыватель, я охотно сторонюсь от нее, но если Вы спросите моего честного и искреннего мнения о ней, то я скажу, что вопрос о ее праве на существование еще открыт и не решен никем, хотя Ольга Андреевна [Полохвастова] и думает, что решила его. У меня, и у Вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав: Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в «навозной куче», но бывшие гораздо устойчивее нас в нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодно-циничные в душе в жизни? Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, которые стыдились воспевать любовь такую, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у читателей Габорио, Марлита, Пьер-Бобо? Подобно вопросам о непротивлении злу, свободе воли и прочему этот вопрос может быть решен только в будущем. Мы же можем только упоминать о нем, решать же его — значит выходить из пределов нашей компетенции. Ссылка на Тургенева и Толстого, избгавших «навозную кучу», не поясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает; ведь было же раньше них поколение писателей, считавшее грязью не только «негодяев с негодяйками», но даже и описания мужиков и чиновников ниже титулярного. Да и один период, как бы он ни был цветущ, не дает нам права делать вывод в пользу того или другого направления. Ссылка на развращающее влияние названного направления тоже не решает вопрос. Все на этом свете относительно и приблизительно. Есть люди, которых развратит даже детская литература, которые с особенным удовольствием прочитывают в псалтыре и в притчах Соломона пикантные местечки, есть же и такие, которые чем больше знакомятся с житейской грязью, тем становятся чище. Публицисты, юристы и врачи посвященные во все тайны человеческого греха, не известны за безнравственных; писатели-реалисты чаще всего бывают нравственными архимандритами. Да и в конце-концов никакая литература не может своим цинизмом перещегоолять действительную жизнь; одною рюмкою Вы не напоите пьяным того, кто уже выпил целую бочку. (1. К письму к К. М. Киселевой от 14 янв. 1887 г. Москва).



...Сегодня придется много пить за здоровье людей, учивших мей резать трупы и писать рецепты. Вероятно придется пить и за Ваше здоровье, так как у нас не проходит ни одна годовщина без того

чтобы пьющие не помянули добром Тургенева, Толстого и Вас. Литераторы пьют за Чернышевского, Салтыкова и Гл. Успенского, а публика (студии, врачи, математики и проч.), к которой я принадлежу, как эскулап, все еще держится старины и не хочет изменять своим именам. Я глубоко убежден, что, пока на Руси существуют зима, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Голя. Вымрут и забудутся люди, которых Вы изображали, но вы останетесь целы и невредимы. Такова Ваша сила и таково, значит, и счастье. (2. Из письма к Д. В. Григоровичу от 12 янв. 1888 г. Москва. Татьянин день. Университетская годовщина).



Требую от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В Анне Карениной и в Онегине не решен ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус. (3. Из письма к А. С. Суворину от 27 октября 1888 г. Москва).



Ваша статья о Толстом сплошная прелесть. Очень, очень хорошо. И сильно, и деликатно. Вообще какой-то особенно удачный номер: Ваша статья, и Франсуаза. Прекрасный рассказ. Прибавка о сестре (она твоя сестра!), сделанная Толстым, не так портит, как Вы боялись. Только от нее рассказ потерял как будто свою свежесть. Впрочем, все равно. (4. Из письма к А. С. Суворину от 6 февраля 1889 г. Москва).



Если мой Иванов не для всех ясен, то это потому, что все четыре главы сделаны неумелой рукой, а вовсе не потому, что я своего героя считал «готовым». Герои Толстого взяты «готовыми»; прошлое и физиономии их неизвестны, угадываются по намекам, но ведь Вы не можете, чтобы эти герои Вас не удовлетворяли. Вся суть в размерах оловянного таланта — *da ist der Hund begraben*. Контуры моего Иванова взяты правильно, начат он так, как нужно—мое чутье не чувствует фальши; сплеховала же растушовка, а оттого, что тушовка плоха, и залодозрили контуры. (5. Из письма к А. С. Суворину от 8 февр. 1889 г. Москва).



Когда я в одном из своих последних писем писал Вам о Бурже и Толстом, то меньше всего думал о прекрасных одалисках и о том, что писатель должен изображать одни только тихие радости. Я хотел

только сказать, что современные лучшие писатели, которых я люблю, служат злу, так как разрушают. ...они заставляют Францию выжидать, а в России они помогают дьяволу размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами. Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятидесятикопеечный....., которая брезжит и охотно отрицает все, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать, которая не женится и отказывается воспитывать детей и т. д. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие дождей, неустойчивость в мыслях — и все это в силу того, что жизнь не имеет смысла, что у женщин... и что деньги — зло.

Где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брызжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке, там несправедливость во всей своей форме. Общество, которое не верует в бога, но боится, которое примет и черта, которое отрицает в с е х врачах и в то же время умеренно оплакивает Боткина и поклоняется Захарьину, не смеет заикаться о том, что оно знакомо с справедливостью.

Германия не знает авторов в роде Бурже и Толстого и в этом ее счастье. В ней и наука, и патриотизм, и хорошие дипломаты, и все, что хотите. Она побьет Францию и союзниками ее будут французские авторы. (6. Из письма к А. С. Суворину 27 дек. 1889 г. Москва).



Неужели Вам не понравилась Крейцеровая соната? Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная — тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уже о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удержишься, чтобы не крикнуть: «Это правда!» или «это нелепо!». Правда, у нее есть очень досадные недостатки. Кроме всего того, что Вы перечислили, в ней есть еще одно, чего не хочется простить автору, а именно — смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять. Так, его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к сексу, о куплении и проч. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами. Но все-таки эти недостатки разлетаются, как перья от ветра, в виду достоинства повести: их просто не замечаешь, а если заметишь, то только подосадуешь, что повесть не избежала участи всех человеческих дел, которые все несовершенно и несвободны от пятен. (7. Из письма к А. Н. Плещееву 13 февр. 1890 г. Москва).



Через 1½—2 недели выйдет в свет моя книжка, посвященная Петру Ильичу. Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, — до такой степени уважаю его. Если говорить о рангах, то в русском искусстве он занимает теперь второе место после Льва Толстого, который давно уже сидит на первом. (Третье я отдаю Репину, а себе беру девятое — восьмое. (8. Из письма к М. И. Чайковскому от 16 марта 1890 г. Москва).



...Вчера одна девица говорила мне, что будто проф. Стороженко рассказывал ей такой анекдот. Государю понравилась Крейцерована, Победоносцев, Любимов и прочие херувимы и серафимы, чтобы оправдать свое отношение к Толстому, поспешили показать государю «Николая Палкина». Прочитав, Г. будто бы так рассердился, что приказал принять меры. Дано было знать кн. Долгорукову. И вот в один прекрасный день приходит к Толстому адъютант Долгорукова и приглашает его немедленно пожаловать к князю. Тот отвечает:

— Передайте князю, что я езжу и хожу только в знакомые дома. Сконфуженный адъютант уезжает, и на другой день привозит графу официальную бумагу, в которой будто испрашивалось у графа объяснение по поводу его Н. Палкина. Толстой прочитал бумагу и сказал:

— Передайте его сиятельству, что я давно уже ничего не пишу для печати; пишу я только для своих друзей, а если друзья распространяют мои произведения, то виноваты в этом они, а не я. Так и передайте.

— Но я этого не могу передать! — ужаснулся адъютант. Князь же не поверит!

— Князь не верит своим подчиненным? Это не хорошо. На третий день опять приезжает адъютант с новой бумагой и сообщает, что Толстой уехал в Ясную Поляну. Так кончается анекдот. (9. Из письма к А. С. Суворину от 22 марта 1890 г. Москва).



Между прочим я поручил послать Вам экземпляры «Власти тьмы» Толстого с собственноручной авторской подписью; я прошу государственную библиотеку принять от меня этот небольшой подарок, как временем буду просить принять от меня все те книги с авторскими записками, какие у меня теперь имеются и какие я собираю и собираю специально для библиотеки моего родного города. (10. Из письма к К. Г. Фоти от 3 мая 1890 г. Тюмень).



Из писателей предпочитаю Толстого, а из врачей — Захарьина. (11. Из письма к В. А. Тихонову от 22 февр. 1892 г. Москва).



«Мы-ста» и «шашнадцать» сильно портят прекрасный разговорный язык. Насколько я могу судить по Гоголю и Толстому, правильность не отнимает у речи ее народного духа. Эти «мы-ста» «шашнадцать» производят на меня всегда впечатление *mouche* *voilée*, которые мешают смотреть на ясное небо. Какое-то излишнее и досадное впечатление. (12. Из письма к Е. П. Гославскому от 23 марта 1892 г. Лопасня).



Тирада о Толстом должна подлежать исключению безусловно. Во-первых, Варя, которая, как Вы пишете, читала много путного, могла раньше не знать учения Толстого и, во-вторых, тирада эта отнимает у богословского разговора его общий характер, т. е. самое интересное. Да и кажется мне, что имена живых могут украшать лишь газетные и журнальные статьи, но не повести. Имена подвешены неумолимому закону моды. Теперь как-то коробит, когда читаешь про даму в турнюре или кринолине, так точно через 10—15 лет, пожалуй, читателю покажется неуместным толкование о толстовщине. И опять-таки повторяю: никто не поверит Вашему Мурину. Ему ли говорить о непротавлении злу? Ему не поверят и все, что он говорит, отнесут к Вашему желанию высказаться и приписать Вам. А Толстой, хоть и великий человек, но не стоит того, чтобы Вы занимались им, даже когда пишете повести, т. е. в часы, когда Вы наиболее объективны и свободны. (13. Из письма к А. С. Суворину от 6 июля 1892 г. Мелихово).



Наши читают Писемского, взятого у Вас, и находят, что его тяжело читать, что он устарел. Я читаю Тургенева. Прелесть, но куда ниже Толстого! Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устаревает, но он все будет молод. Впрочем, предоставим судить о С. Венгерову, а сами перейдем к более насущным вопросам. (14. Из письма к А. С. Суворину от 13 февр. 1893 г. Мелихово).



Кроме старушки в Базарове, т. е. матери Евгения и вообще матерей, особенно светских барынь, которые все впрочем похожи одна на другую (мать Лизы, мать Елены), да матери Лаврецкого, бывшей крепостной, да еще простых баб, все женщины и девицы Тургенева невьшосимы своей деланностью и, простите, фальшью. Лиза, Елена это не русские девицы, а какие-то Пифии, вещающие, избыточные претензиями не по чину. Ирина в Дыме, Одинцова в Отце и дети вообще львицы, жгучие, аппетитные, ненасытные, чего-то ищущие, все они чепуха. Как вспомнишь толстовскую Анну Каренину, то в

и тургеневские барыни со своими соблазнительными плечами летят чорту. (15. Из письма к А. С. Суворину от 24 февр. 1893 г. Мелихово).



После того, как я совершенно бросил курить, у меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может оттого, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души отношусь к ней недружелюбно и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь и меня не удивит мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, живливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что из портянок издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и вероятно гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война — зло и суд — зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в «запрет против», а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже ушел, его в душе моей нет и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от поста. Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отращиванием. Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: «чего-нибудь кисленького». Так и мне хочется чего-то кисленького. И это случается, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых влечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди, утратив переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и корить ее своею массою, грандиозностью. Впрочем, все сие в руке жней. А зафилософствуй — ум вскружится. (16. Из письма к А. С. Суворину от 27 марта 1894 г. Ялта).



Иногда бывает: идешь мимо буфета III класса, видишь холодную, жареную рыбу и равнодушно думаешь: кому нужна эта неаппетитная рыба? Между тем, несомненно, рыба эта нужна и ее

едят, и есть люди, которые находят ее вкусной. То же самое можно сказать о произведениях Баранцевича. Это — буржуазный писатель пишущий для чистой публики, едущей в III классе. Для этой публики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, немножко чужды и неудобоваримы. Публика, которая с наслаждением ест солонину с хреном и не признает артишоков и спаржи. Станьте на ее точку зрения, вообразите серый, скучный двор, интеллигентные дамы, похожих на кухарок, запах керосинки, скудость интересов и вкусов — и Вы поймете Баранцевича и его читателей. Он не колоритен, это отчасти потому, что жизнь, которую он рисует, не колоритна. Он фальшив..., потому что буржуазные писатели не могут быть истинно фальшивы. Это — усовершенствованные бульварные писатели. Бульварные грешат вместе со своей публикой, а буржуазные лицемерят с ней вместе и льстят ее узенькой добродетели. (17. Из письма к А. С. Суворину от 15 авг. 1894 г. Мелихово).



...Сенкевич, повидимому, не читал Толстого, не знаком с Ницше, в гипнотизме он толкует, как мещанин, но зато каждая страница у него так и пестрит Рубенсами, Боргезе, Корреджио, Боттичели — и это для того, чтобы щегольнуть перед буржуазным читателем своею образованностью и показать кукиш в кармане материализму. Цель романа ублажать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт — и твое дело в шляпе и на том и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капиталу наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым. (18. Из письма к А. С. Суворину 13 апр. 1895 г. Мелихово).



...Читал об успехе Власти Тьмы в вашем театре. Конечно, хорошо, что Анютку играла Домашева, а не «маленькая крошка», которая (по Вашим словам) Вам так симпатична. Этой крошке нужно Метрону играть. Когда я был в августе у Толстого, то он, вытира после умыванья руки, сказал мне, что переделывать свою пьесу ему не будет. И теперь, припоминая мне, думаю, что он уже тогда знал, что пьеса его будет *in toto* разрешена для сцены. Я прожил у него 11½ суток. Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Л. Н. были легки. При свидании расскажу подробности. (19. Из письма к А. С. Суворину 21 октября 1895 г. Мелихово).



Дочери Толстого очень симпатичны. Они сбожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле

еликая нравственная сила, ибо если бы он был неискренен и несусупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически довери, так как дочери те же воробьи: их на мякине не проведешь... Певесту и любовницу можно надуть, как угодно, и в глазах любимой женщины даже осел представляется философом, но дочери — другое дело. (20. Из письма к А. С. Суворину от 26 октября 1895 г. Москва).



Завидую Вам, что Вы едете в Ясную Поляну. Я стремлюсь туда всем существом своим и, должно быть, в сентябре мне удастся побывать там. Я собирался в июне — в июле, но не было уверенности, то я не стесню. Судя по газетным известиям, Ясная Поляна загроужена гостями — французами и американцами. Не так давно я встретил на железной дороге доктора, который хвалился мне, что он гостит у Льва Николаевича вместе со своими малолетними детьми и что одновременно с ним гостит там и Тищенко, нудный хохол, читавший вслух свою повесть. Вот приехать, когда там этакая компания, было бы не совсем кстати. Когда у нас бывает очень много гостей и решается вопрос, где кого положить, то все бывают раздражены. (21. Из письма к М. О. Меньшикову от 11 авг. 1896 г. Мелихово).



Нет худа без добра. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня. Потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском виде; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляет тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде безформенной студенистой массы; мое — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивлялся, что я не понимаю. (22. Из письма к М. О. Меньшикову от 16 апр. 1897 г. Москва).



Нового ничего нет. В литературе затишье. В редакциях пьют чай, дешевое вино, пьют невкусно, походя — очевидно, от нечего делать. Толстой пишет книжку об искусстве. Он был у меня в клинике и говорил, что повесть свою «Воскресенье» он забросил, так как она ему не нравится, пишет же только об искусстве и прочел об искусстве 60 книг. Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли те умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до *plus ultra*, что искусство измелъчало, износилось, что люди ослабели и проч. проч. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в упкий переулочок, из которого ему нет выхода (вперед). (23. Из письма к А. И. Эртелю от 17 апреля 1897 г. Лопасня).



Судя по выдержке, напечатанной в «Нов. Вр.», статья Л. Н. о искусстве не представляется интересной. Все это старо. Говорить о искусстве, что оно одряхлело, вошло в тупой переулочек, что оно не то, чем должно быть, и проч. и проч. Это все равно, что говорить, что желание есть и пить устарело, отжило и не то, что нужно. Конечно голод старая штука, в желании есть мы вошли в тупой переулочек, но есть все-таки нужно, и мы будем есть, чтобы там ни разводили на бобах философы и сердитые старики. (24. Из письма к А. С. Суворину от 4 янв. 1898 г. Ницца).



В своей жизни я ни одного человека не уважал так глубоко, можно сказать беззаветно, как Льва Николаевича. (25. Из письма к И. И. Горбунову-Посадову от 9 нояб. 1898 г.).



Я недавно написал юмористический рассказ в $\frac{1}{2}$ листа, и теперь мне пишут, что Л. Н. Толстой читает этот рассказ вслух, читает необыкновенно хорошо. (26. Из письма к А. С. Суворину от 27 янв. 1899 г. Ялта).



Мне пишут, что Л. Н. Толстой очень хорошо и смешно читает мой рассказ «Душечка», напечатанный в Семье. (27. Из письма М. П. Чеховой от 4 февр. 1899 г. Ялта).



Знакомы ли Вы с Л. Н. Толстым? Далеко ли Ваше имение будет от Толстого? Если близко, то я Вам завидую. Толстого я люблю очень. (28. Из письма к Л. А. Авиловой от 9 марта 1899 г. Ялта).



Я Толстого знаю, кажется, хорошо знаю, и понимаю каждое движение его бровей, но все же я люблю его. (29. Из письма к Л. А. Авиловой от 23 марта 1899 г. Ялта).



Третьего дня я был у Л. Н. Толстого; он очень хвалил Вас, сказал, что Вы «замечательный писатель». Ему нравятся Ваша «Ярмарка» и «В степи» и не нравится «Мальва». Он сказал: «Можно выдумывать все, что угодно, но нельзя выдумывать психологию, у Горького попадают именно психологические выдумки, он описывает то, чего не чувствовал». Вот Вам. Я сказал, что когда Вы будете в Москве, то мы вместе приедем к Л. Н. (30. Из письма к М. Горькому от 25 апр. 1899 г. Москва).



Любовь у Вас в пьесе недостаточно интимна; она болтлива, потому что женщины много говорят и даже резонируют, даже грубят (Гадюка, мерзавка светская, «во мне произошла какая-то реакция»), рискуют показаться неприятными тем более еще, что они не моды. Любовь не интимна, женщины не поэтичны, у художников нет вдохновения и религиозного настроения, точно все это бухгалтеры, за их спинами не чувствуется ни русская природа, ни русское искусство с Толстым и Васнецовым. И это главным образом оттого, что Вы, быть может умышленно, пишете языком, каким вообще пишутся пьесы, языком театральным, в котором нет поэзии. (31. Из письма к Е. П. Гославскому от 11 мая 1899 г.).



Нового у меня ничего, живем по-старому. Возбудоражила всех болезнь Льва Николаевича. Я телеграфировал в Москву проф. Черинову, но определенного ответа не получил и до сих пор не знаю, в чем дело, какая болезнь, и до сих пор беспокоюсь и не знаю, что отвечать, когда меня спрашивают о здравьи Льва Николаевича. Телеграфировать Софье Андреевне я не решился, так как она и без того завалена письмами и телеграммами. (32. Из письма к М. О. Меншикову от 26 декаб. 1899 г. Ялта).



Добавление к указу это точно толстовское послесловие к Крейцу и Конате. Академики сделали все, чтобы обезопасить себя от литературов, общество которых шокирует их так же, как общество русских академиков шокировало немцев. Беллетристы могут быть только почетными академиками, а это ничего не значит, все равно как почетный гражданин города Вязьмы или Череповца: ни жалованья, ни права голоса. (33. Из письма к А. С. Суворину от 8 янв. 1900 г. Ялта).



Что за болезнь у Толстого, понять не могу. Черинов ничего мне не ответил, а из того, что я читал в газетах и что Вы теперь пишете, вывести ничего нельзя. Язвы в желудке и кишечнике сказывались и иначе; их нет или было несколько кровоточивших царапин, прошедших от желчных камней, которые проходили и ранили стенки. Така тоже нет, он отразился бы прежде всего на аппетите, на общем состоянии, а главное — лицо выдавало бы рак, если бы он был. Вернее всего, что Л. Н. здоров (если не говорить о камнях) и проживет еще лет двадцать. Болезнь его напугала меня и держала в напряжении. Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно

его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал, не делаешь, — не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие в литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглость и слезливое, всякие шаршавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться.

Чтобы кончить о Толстом, скажу еще о «Воскресении», которое я читал не урывками, не по частям, а прочел все сразу, залпом. Это — замечательное художественное произведение. Самое интересное — это все, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше и самое интересное — князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители. Сцена у генерала, коменданта Петропавловской крепости, спирита, — я читал с замиранием духа — так хорошо! А там Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосья! Этот мужик называется свою бабу «ухватистой». Вот именно у Толстого перо ухватисто. Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, а потом взять и свалить все на текст из евангелия — это у очень по-богословски. Решать все текстом из евангелия — это тоже произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из евангелия, а не из корана. Надо сначала заставить уверовать в евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уже решать все текстом.

Я надоед Вам? Вот когда приедете в Крым, я буду Вас интересовывать и потом напечатать в «Новостях дня». О Толстом пишу как старухи об юродивом, всякий елейный вздор; напрасно он разговаривает с этими шушумами.

Я был нездоров недели две. Перемогался. Теперь сижу с мушкой под левой ключицей и чувствую себя не дурно. Не с мушкой, а с красным пятном после мушки.

Фотографию вышлю Вам непременно. Званию академика рад, так как приятно сознавать, что мне теперь завидует Сигма. Но еще более буду рад, когда утеряю это звание после какого-нибудь недоразумения. А недоразумение произойдет непременно, так как ученые академики очень боятся, что мы будем их шокировать. Толстого вообще брали скрепя сердце. Он, по-тамошнему, нигилист. Так по крайней мере назвала его одна дама, действительная тайная советница, — с чем от души его поздравляю. (34. Из письма к М. О. Меньшикову от 28 янв. 1900 г. Ялта).



«Воскресение» замечательный роман. Мне очень понравилось только надо читать его все сразу, в один присест. Концовка не интересна и фальшива, фальшива в техническом отношении. (35. Из письма к А. С. Суворину от 12 февр. 1900 г. Ялта).



Что же мне не шлют «Фомы Гордеева»? Я читал его только отрывками, а надо бы прочесть все сразу, в один присест, как я недавно прочел «Воскресенье». Все, кроме отношений Нехлюдова к Каюше, довольно неясных и сочиненных, все поразило меня в этом романе силой и богатством, и широтой, и неискренностью человека, который боится смерти, не хочет сознаться в этом и цепляется за тексты из свящ. писания. (36. Из письма к М. Горькому от 15 февр. 1900 г. Ялта).



Вчера я был у Толстого. Застал его в постели. Ушибся немного и теперь лежит. Здоровье его лучше, чем было, но все же это лишь теплые дни в конце октября, а зима тем не менее близко, близко. Он, повидимому, был рад моему приезду. И я почему-то в этот раз был особенно рад его видеть. Выражение у него приятное, доброе, хотя и стариковское, или вернее старческое, слушает он с удовольствием и говорит охотно. Крым все еще нравится ему. (37. Из письма к О. Л. Книшпер от 6 ноября 1901 г. Ялта).



Вот подробности насчет Л. Н. Он заболел вдруг, вечером. Началась грудная жаба, перебои сердечные, тоска. В это время доктора, которые его лечат, сидели у меня. Их вызвали по телефону. Утром мне дали знать, что с Толстым плохо, что он едва ли выживет. Началось воспаление легкого, то самое воспаление, которое бывает у стариков перед смертью. Мучительное, выжидательное настроение продолжалось два дня. Затем известие по телефону: «процесс в легких не идет дальше, явилась надежда». Теперь Т. лежит на спине, чрезвычайно слабый, но пульс у него хороший. Надежда не ослабела. Лечат его превосходно, в том числе московский врач Щуровский и питинский Альтшуллер. То, что Т. остался жить, что есть надежда, и, хотя бы наполовину, отдаю на долю этих двух докторов. (38. Из письма к П. А. Сергеевскому от 2 февр. 1902 г. Ялта).



Есть одна новость, очень приятная — это выздоровление Льва Толстого. Граф был болен очень серьезно, у него началось воспаление легких, от которого старики такие, как он, обыкновенно не выздоравливают. Дня три мы ждали конца, и вдруг наш старик ожил, стал подавать надежды. В настоящее время, когда я пишу Вам это, надежда достаточно скрепла, и когда Вы будете читать письмо, то Л. Н. вероятно будет уже здоров. (39. Из письма к М. П. Алексеевой от 3 февр. 1902 г. Ялта).



Фотографии Толстого, те самые, которые я посылаю, получены мною от М. Горького, который посылал в Нижний-Новгород имею-

щиеся у нас маленькие фотографии для переснимка. Они не распространены, их нигде нет, и хорошо бы, если бы не упоминалось о них в Приазовском крае и в Таг. Вестнике. Снимала гр. С. А. Толстая (40. Из письма к П. Ф. Иорданову от 4 февр. 1902 г. Ялта).



Здоровье Толстого вот в каком положении: началась пневмония, сначала одно легкое, потом и другое, три дня ждали смерти, а потом вдруг судьба улыбнулась, старику полегчало и теперь идет разрешение. Он слаб, лежит, но все же есть надежда. Лечит его московский врач Щуровский, которого я ставлю высоко; лечит еще и другой местный врач, очень порядочный и много знающий. Живет Толстой в Гаспре, в 10 верстах от Ялты; ниже, в Олене, живет Горький, находящийся ныне под надзором полиции, под гласным надзором. Для библиотеки, кстати сказать, я сохранила несколько фотографий Толстого, снятых в Гаспре; есть фотографии, где изображены Толстой и я. Есть Толстой с семьей и проч.

Ну, желаю Вам всего хорошего, будьте здоровы; и семье Вашей желаю главным образом здоровья. Если случится с Т. что-нибудь особенное, то напишу. Пока же, повторяю, все благополучно. (41. Из письма к П. Ф. Иорданову от 6 февр. 1902 г. Ялта).



Дед поправляется, уже сидит, весел. Читала ты «Крестьянина» с его предисловием? Особенного ничего нет, но хорошо, кроме предисловия, которое показалось мне грубоватым и неуместно придирчивым. (42. Из письма к О. Л. Книшпер от 13 марта 1902 г. Ялта).



Насчет почетных академиков ничего еще не решено, ничего не известно; мне никто ничего не пишет, и я не знаю, как мне поступить. Поговорю сегодня с Л. Н. (43. Из письма к О. Л. Книшпер от 31 марта 1902 г. Ялта).



Л. Н. Толстому лучше, это несомненно, болезнь (воспаление легких) миновала, но все же он слаб, очень слаб, только недавно стал сидеть в кресле, а то все лежал. Ходить будет еще не скоро. Я была у него третьего дня, и он показался мне выздоравливающим, но очень старым, почти дряхлым. Много читает, голова ясная, глаза необыкновенно умные. Писать, конечно, нельзя, но все же есть кое-что новое, им написанное; об этом впрочем поговорю при свидании (44. Из письма к Н. П. Кондакову от 2 апр. 1902 г. Ялта).



Толстому передавать заявления не стану. Когда я заговорил с ним о Горьком и об академии, то он проговорил: «Я не считаю себя академиком», — и уткнулся в книгу. (45. Из письма к В. Г. Короленко от 19 апр. 1902 г. Ялта).



Сегодня «Власть тьмы», исполнение, кажется, не дурное, но пьеса гара или по крайней мере зрители относятся к ней, как к старой. 46. Из письма к Л. В. Средину от 5 ноября 1902 г. Москва).

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В письме, из которого взят настоящий отрывок, Чехов отвечает адресатке, прекавшей Чехова за рассказ «Тина» в излишнем натурализме при изображении темных сторон жизни. — Голохвастова — общая знакомая Чехова и Киселевой — Иер Бобо — распространенное в литературе прозвище П. Д. Боборыкина.
4. Речь идет о рассказе Мопассана «Франсуаза», который Толстой перевел с некоторыми изменениями и добавлениями. Суворин напечатал перевод в своей газете «Новое время» и поместил о нем статью.
5. Da ist der Hund begraben — здесь собака зарыта.
6. «Когда я в одном из своих последних писем писал Вам о Бурже и Толстом»... Письмо это в печати не появлялось и, повидимому, утрачено. О Поле Бурже, Чехов говорит в настоящем письме в связи изданием перевода его романа «Le diable» — «Ученик».
8. Письмо адресовано брату композитора Петра Ильича Чайковского. Последнему Чехов посвятил свою книгу «Хмурые люди».
9. Н. И. Стороженко — историк литературы, московский профессор. Кн. Долгоруков — московский генерал-губернатор. К. П. Победоносцев — известный реакционер, оберпрокурор синода. Любимов — реакционер, редактор «Московских ведомостей». «Николай Палкин» — рассказ Толстого, в котором изображен император Николай I; рассказ, не дозволенный цензурой, распространялся нелегально в списках.
10. Адресат — городской голова в Таганроге, куда в течение ряда лет Чехов посылал книги, как получаемые от авторов, так и специально для того приобретаемые. С течением времени из таких книг образовалась целая библиотека.
11. Из автобиографии, в полушутливой форме написанной Чеховым для журнала «Север», который в то время редактировал В. А. Тихонов.
12. Адресат прислал Чехову свою пьесу, разговорный язык крестьян в которой Чехов здесь и критикует. Les mouches volantes — летающие мухи, — медицинский термин (черные точки, появляющиеся в поле зрения при некоторых болезнях глаз).
13. Критические высказывания Чехова относятся к пьесе Суворина «Вопрос», Таря и Мурин — персонажи последней.
18. Речь идет о романе Г. Сенкевича «Семья Поланецких».
25. Из письма Чехова, еще ни разу в печати не появлявшегося.
26. Рассказ «Душечка», напечатанный впервые в журнале «Семья».
33. Речь идет о созданном при разряде изящной словесности Академии наук институте почетных академиков, не получивших равного с прочими академиками права голоса на собраниях Академии.
34. Чехов, как и Толстой, был выбран в почетные академики при первых же выборах. Предсказание его относительно утери этого звания и недоразумений вскоре сбылось, о чем см. дальше.
40. Чехов посылал фотографии для Таганрогской городской библиотеки. Отрывок из письма, не появлявшегося еще в печати.
42. Отрывок из письма, не появлявшегося еще в печати. «Крестьянин» — роман немецкого писателя фон-Поленца. Толстой написал предисловие к русскому переводу.
43. Отрывок из письма, не появлявшегося еще в печати. Николай II выразил райне неудовольствие избранием в почетные академики Горького, вследствие его избрание было аннулировано. Об этом случае и пишет здесь Чехов. В конце концов он и Короленко сложили с себя звание почетных академиков.
45. Речь идет о тексте заявления по поводу аннулирования выборов Горького в почетные академики. Короленко прислал Чехову проект такого заявления.
46. «Власть тьмы» ставилась в Художественном театре.